

УДК 929(47)"18"  
ББК 63.3(2)47-8  
Б38

**Бежин, Леонид Евгеньевич.**

Б38      Смерть и воскресение царя Александра I / Леонид Бежин. –  
Москва : Алгоритм, 2016. – 288 с.– (Романовы. Тайны династии).

ISBN 978-5-906861-51-1

В 1825 г. во время путешествия к Черному морю скончался Всероссийский император Александр I Благословенный, участник заговора против родного отца, убиенного Государя Павла I, победитель Наполеона. Через всю страну везли гроб с телом царя. Толпы народа оплакивали своего монарха. Но когда много лет спустя царскую усыпальницу вскрыли, она оказалась пуста. Народная молва считает, что раскаявшийся император оставил престол и простым бродягой ушел искупать свои грехи.

А через несколько лет в Сибири появился старец Федор Кузьмич, как две капли воды похожий на умершего царя. Народ почитал его как святого еще при жизни, а Церковь канонизировала после смерти. Но был ли он в прошлом Императором Всероссийским? Об этом старец умолчал.

Разгадать эту тайну пытается автор.

УДК 929(47)"18"  
ББК 63.3(2)47-8

ISBN 978-5-906861-51-1

© Бежин Л.Е., 2016  
© ООО «ГД Алгоритм», 2016



## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### *Глава первая*

#### УХОД И САМОЗВАНСТВО

Не умер, а ушел...

За этими словами скрывается не только одна из самых таинственных, влекущих и завораживающих загадок русской истории — загадка смерти императора Александра I, — но и прообраз многих духовных драм, воплощенных как в отечественной классике (достаточно вспомнить «Живой труп»), так и в судьбе ее творцов — от Толстого до Гоголя. Ведь и Толстой перед смертью если и не ушел, то, во всяком случае, предпринял отчаянную попытку уйти, вырваться из тисков привычной жизни, окружающей его обстановки барского дома, но, простудившись в поезде, на сквозняке, слег и уже не поднялся со своего ложа в доме начальника железнодорожной станции Астапово. Поразительная смерть — поразительная настолько, что и не скажешь, чего в ней больше, духовного величия, героического порыва русского Самсона, разрывающего путы, извечного толстовского анархизма, ниспровержения всех и вся или старческой немощи: на сквозняке простудился! Он-то, великан, Самсон, русский гений, не побоявшийся бросить вызов обществу, устоявшим мнениям, высшему свету, церкви, царскому двору, — на сквозняке (вот и Скрябин, творец Мистерии на конец света, умер от пореза во время бритья)! Страшно волновался,

переживал — все-таки уход, разрыв с семьей! — и не заметил, как продуло. Ему бы получше закутаться, застегнуться на все пуговицы, но какое там!.. мысли, мысли: вот и не заметил. А до этого в таком же лихорадочном волнении встал, собрался, стараясь, чтобы не услышала Софья Андреевна (не дай Бог скрипнуть половицей, что-нибудь уронить, разбить!), оставил для нее письмо и в пять часов утра вместе с секретарем Душаном Маковицким покинул Ясную Поляну. На станции каждый взял по два билета в разные направления: Лев Николаевич боялся, что жена будет преследовать, настигнет, разрыдается, устроит сцену и вернет.

Снова зажмет в тиски.

«...Делаю то, что обыкновенно делают старики: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни...» — так он написал в письме, обращенном к жене и переданном ей через дочь Александру Львовну.

Слова эти склоняют к размышлениям. С одной стороны, Толстой имеет в виду уединение и тишь монастыря, поскольку сам в монастырь и направляется (сначала в Козельск, а затем в Шамордино), ведь один крестьянин ему недавно сказал: «Ты, отец, в монастырь определись. Тебе мирские дела надо бросить, а душу спасти...» Но, с другой, ему явно вспомнилась в этот момент его любимая Индия, где старики имеют обыкновение — поскольку это предписано дхармой, главным духовным законом, — удаляться от мирской жизни в лесные убежища отшельников. Среди русских стариков таких найдешь немного: для них это не обыкновение, а личный почин, порыв, дерзновение, а вот в Индии — да, там вся жизнь делится на четыре этапа, и третий из них — лесное отшельничество (четвертый — безымянные скитания с чашей для подаяний). По этому письму чувствуешь, как любовно вынашивал Лев Николаевич мысль об уходе, и так и этак ее поворачивал, опробовал и какие разные образцы перебирал в уме (в том числе и поразивший его уход Александра Доб-

ролюбова, поэта, декадента, ставшего безымянным скитальцем, проповедником, канувшим в глубины России). И конечно, был среди этих образцов и уход Александра, обернувшегося сибирским старцем, ведь недаром написал (начал, но не закончил; почему — вопрос особый) Лев Николаевич повесть «Посмертные записки старца Федора Кузмича». И недаром героя «Живого трупа» назвал не как-нибудь, а — Федором, Федей Протасовым.

Смерть помешала Толстому уйти, властно ответив на его «е. б. ж.» («если буду жив» — обычная приписка): «Нет, не будешь...» Вообще в предшествующие годы смерть не раз стучалась костяшками пальцев в двери семейства Толстых: в 1904 году умер брат Сергей Николаевич, затем в 1906 году дочь Маша, любимица, верный друг и помощник; к тому же тяжело заболела Софья Андреевна, которой пришлось делать операцию. И вот наконец в доме начальника станции наступила смерть и самого Льва Николаевича. Но можем ли мы представить, что события развивались иначе? Почему же нет! Можем, ведь и средневековая схоластика позволяла различные, подчас даже самые смелые и рискованные допущения, лишь бы они вдохновляли поиск и работу мысли. Поэтому и нам позволено спросить: а если бы Лев Николаевич не умер в Астапове, его путь из Шамордина на юг не прервался так трагически, а продолжился и он, по примеру Александра, обернулся безымянным старцем где-нибудь в Крыму, на Кавказе, на Дону, на Волге? Молился бы, наставлял, утешал, глядя склонившиеся перед ним головы сухонькой ладошкой... Дух захватывает при мысли о том, какого нравственного величия он мог бы достигнуть, мог бы потрясти и Россию, и Европу, и весь мир своим духовным подвигом.

Об этом писали, и, может быть, убедительнее всех, не философы, не литературоведы, а человек, на которого в академических кругах как-то не принято ссылаться, слишком уж он странную, необычную написал книгу — «Розу мира».

А что там, в этой «Розе мира», пойдя разберись, поэтому не лучше ли ее эдак в сторонку (от греха подальше), на край стола, а то и вовсе на верхнюю полку, на антресоли?.. Но я все-таки придвину ее поближе и не побоюсь раскрыть, поскольку ее автор, поэт, философ, мистик Даниил Андреев, как никто умел видеть духовный смысл, прозревать метафизические глубины и в жизни, и в творчестве русских писателей: «И действительно: если бы он не заблудился среди нагромождений своего рассудка, если бы ушел из дому лет на 20 раньше, сперва в уединение, а потом — с устной проповедью в народ, совершенно буквально странствуя по дорогам России и говоря простым людям простыми словами о России Небесной, о высших мирах Шаданакара (совокупность разноматериальных слоев нашей планеты — Л.Б.), о верховной Правде и универсальной любви, — эта проповедь прогремела бы на весь мир, этот воплощенный образ Пророка засиял бы на рубеже XX века надо всей Европой, надо всем человечеством, и невозможно измерить, какое возвышающее и очищающее влияние оказал бы он на миллионы и миллионы сердец».

Все это так, но не случайно в перечне Даниилом Андреевым возможных тем проповедей Толстого отсутствует Христос: как раз Христа он и не мог бы нести в народ, поскольку перекроил Его по собственным меркам. И всякий раз, как начинал бы проповедовать, выходил бы у него не Христос, а все тот же Лев Николаевич с его морализмом, нечуткостью к мистическому, запредельному, сверхразумному. Все это он в Христе отбросил, и получился Христос «от мира сего», удивительно совпадающий и с арианским (Арий учил тому, что Сын как человек меньше Отца как Бога), и с ренановским, и с булгаковским («Мастер и Маргарита»). Собственно, Толстой в своем подходе к Евангелиям отразил доникейское понимание Христа и, с другой стороны, просветительское, рационалистическое, позитивистское. В сущности, он был одним из

русских протестантов, недаром его «Отец Сергей» заставляет вспомнить неудавшийся монастырский опыт Лютера. Христос же, открывающийся в молитвенном опыте, мистическом взлете и парении души, в уединенных восторгах, видениях и экстазах, остался ему чужд, даже враждебен. Неслучайно Лев Николаевич признавался, что размышления о Христе, Церкви, Евангелиях доставляют ему умственное наслаждение (можно добавить: и сознание своего превосходства над мнениями других).

В этом весь Толстой с его жаждой смирения, опрощения (носил простую блузу, не ел мяса, босой ходил за сохой), острой совестливостью, тайной интеллектуальной гордыней и нераскрытостью духовных даров. Собственно, вопрос этот в литературе о Толстом впервые ясно и отчетливо поставил Даниил Андреев, поэтому за неимением других источников мы вновь обратимся к нему: «Трагедия Толстого заключается не в том, что он ушел от художественной литературы, а в том, что дары, необходимые для создания из собственной жизни величавого образца, который превышал бы значительность его художественных творений, — дары, необходимые для пророческого служения, — остались в нем нераскрытыми. Духовные очи не разомкнулись, и миров горних он не узрел. Духовный слух не отверзся, и мировой гармонии он не услышал. Глубинная память не пробудилась, и виденного его душою в иных слоях или в других воплощениях он не вспомнил». И далее вывод: «Его проповеди кажутся безблагодатными потому, что рождены они только совестью и опираются только на логику, а духовного знания, нужного для пророчества, в них нет».

Таким образом, и в уходе императора Александра Толстой многого не распознал, не постиг тайну преображения царя в святого. В его изображении Федор Кузмич, собственно, и не святой, не старец, наделенный благодатной силой, а старик со всеми человеческими слабостями и сомнения-

ми. Старик, который не может побороть «антипатии, отвращения» к неприятным людям (особенно к досаждавшему ему своими визитами Никанору Ивановичу и... к Людовику XVIII) и совсем по-толстовски оценивает прожитую жизнь, отношения с женой и проч. Но при этом в уходе Александра Толстой, может быть, уловил то, что легло в основу его собственного учения о непротивлении злу насилеиом. Ведь Александр во многом ушел из-за того, что не захотел брать на себя ту роль самодержца, которую взял затем Николай (к этой мысли мы еще вернемся), не захотел подавлять ропот и бунт... Во всяком случае, получив очередной донос о деятельности тайных обществ, будущих декабристов, он заключил: «Не мне их карать».

Не воспротивился злу насилеиом — вполне по-толстовски...

Александровский уход задолго до Толстого по-своему воплотил Гоголь в обращениях последних лет. Он, как и Толстой, не был благодатным проповедником, и его попытки наставить на путь истинный друзей, даже старших по возрасту, убеленных сединами отцов семейств, менторский тон поучающего часто вызывали у них справедливое недоумение, а то и бурное негодование и возмущение. Но ведь при этом Гоголь написал «Выбранные места», проникновенно воспевав православие, овевающее своей теплотой весь строй русской жизни. И не только «Выбранные места», но и «Размышления о Божественной литургии», свидетельствующие о стремлении выразить церковное понимание символики и мистики главного православного таинства. Гоголь не только был, — вернее, страстно желал быть церковным человеком (вечное напоминание об этом — храм в Москве на Поварской, где он молился), но усвоил — пусть несколько лихорадочно, судорожно, надрывно, по-интеллигентски, — многие составляющие православной аскетики: совершил благочестивое паломничество ко Гробу Господню и постился со всей суровостью

автодидакта. Он только от Пушкина не мог отречься, как требовал от него духовник Матфий, воплощение Николаевской эпохи, Гоголь же в лице Пушкина сохранял верность Александровской, не подозревая о том, что именно Александр, а не Матфий мог бы стать его вожатым на духовном пути.

Но в 1825 году Гоголь был слишком юн, да и далек от Петербурга, чтобы попытаться распознать то, что скрывалось за официальным известием о смерти императора...

Для Чехова уходом было паломничество на Сахалин, каторжный остров, — через Урал, через Сибирь, по тряским дорогам, в лодке, заливаемой водой. Для Даниила Андреева — десятилетие, проведенное в заточении, сталинском застенке, во Владимирской тюрьме, где и была создана «Роза мира». И, наконец, сам Пушкин... Впрочем, отношение Пушкина к императору Александру и императрице Елизавете Алексеевне, осмысление возможного ухода — тема самостоятельная, сложная, требующая особого внимания и отдельного рассмотрения, и мы ее прибережем на будущее.

А пока вернемся к тому, с чего начали. Итак, не умер, а ушел: что еще здесь заставляет задуматься? Если бы просто ушел в монастырь, как Карл V, или сложил с себя имперские полномочия, как римлянин Цинциннат, это — при всей значимости, даже величественности, героичности такого поступка — было бы в порядке вещей, укладывалось в некие рамки, соответствовало этикетным нормам эпохи. Но ведь Александр ушел, а не умер; он инсценировал, разыграл собственную смерть, выдал за себя умершего, положенного в гроб вместо него. Это же — нарушение этикета, переименование, выворачивание наизнанку всякого порядка, выламывание из всех рамок, заставляющее искать дополнительные смысловые определения. Уход и что еще? А ну-ка задумаемся, поищем. Пожалуй, лишь самозванство в такой же степени укоренено в подпочве национального сознания и столь же причудливыми всплесками вырывается наружу.



Но присвоение чужого имени, разыгрываемое как исторический фарс и осуществляемое как политическая авантюра, казалось бы, лишено того внутреннего измерения, которое и делает уход в безымянность актом возвышенной духовной драмы. И все же, все же... Без самозванства не распознать в русской душе чего-то глубинного, нутряного, изначально-го, некоей утаенной, подспудно бродящей, бушующей в ней стихии. Это чувствовал еще Пушкин: недаром его так интересуют и самозванцы (Пугачев — Петр III), и добровольно оставившие трон («Анджело», «Родрик»).

Гришка Отрепьев, будущий Лжедмитрий, ярыжкой, голю перекаточной бражничал по кабакам, пил беспробудно, шатаясь и держась за стены, ходил меж столов, но иногда, в минуты просветления, с проникновенной задумчивостью повторял, глядя в никуда: «А я, пожалуй, и царем на Руси стану». И — стал, что самое-то поразительное. Хотя и подставным, самозванным, но — стал, и, как пишет о нем Ключевский, старался царское достоинство не уронить, блюсти, быть царем хорошим, скромным и справедливым и много доброго сделал. Вот она, душа самозванца, — нет, не потемки: есть в ней какой-то неверный, зыбкий, мерцающий, отраженный свет, похожий на небо в глубоком колодце! Значит, верил в свою избранность, предназначенность или, скажем так, чуял в себе того, от чьего имени выступал. Чуял таким, каким его создавала народная молва, связывавшая с убиенным царевичем свои заветные чаяния. По-своему страдал убиенному царевичу и, словно кропя живой водой, воскрешал его в себе, давал проявиться, жертвовал себя его воскресению.

Поэтому да, лишено и в то же время нет, не лишено русское самозванство того же внутреннего измерения, что и уход. Вдумаемся: Григорий Отрепьев стал царем самозванным, а Александр I царем самоотреченным, как его называли в народе. И меж самозванством, самоотречением и ухо-

дом есть некое промежуточное звено — юродство. Сколько их было, юродивых или похабов на Руси! Истинное, благодатное юродство, — юродство по призванию, юродство, взятое на себя как высший духовный подвиг ближе к уходу; внешнее, театрализованное, самочинное, безблагодатное — к самозванству. Нечто юродское угадывается и в Толстом, и Гоголе, но — не в Пушкине, хотя в «Борисе Годунове» самый близкий ему персонаж — Юродивый, и отождествляет он себя именно с ним: «Хоть она (трагедия «Борис Годунов». — Л.Б.) и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!».

По этим трем этапам и странствует извечно русская душа. Приглядишься пристальнее и увидишь: русский человек, кто бы он ни был, — полководец (Суворов петухом кричал), вельможа (екатерининские вельможи почти сплошь то ли чудаки, то ли юроды), художник (такой как Иванов), писатель, — уходит, юродствует и самозванствует.

Без этого нам не постигнуть до конца того, что император, обитатель Зимнего дворца с зеркалами и навощенным паркетом, принимавший знаки поклонения, круживший головы светским красавицам, очаровывавший всех на балах, появился в Сибири как старец в простой деревенской рубахе и старой, вылинявшей дохе.

## *Глава вторая*

### ИМЕНА

Старца этого звали... звали и просто Федором Кузьмичом, особенно в народе, среди арестантов и ссыльных, окружавших его, и он против такого обращения ничего не имел, не возражал: ну, Федор и Федор, даже отраднo ему было затеряться среди множества других Федоров, слиться с ними.

И все-таки подлинное его имя — Феодор, Феодор Козьмич, и выбрано оно не случайно, и означало для Александра очень многое. Прежде всего, это было его новое, духовное имя, соответствовавшее тому грандиозному перелому, который совершился в душе. Когда его бабка Екатерина II нарекала его Александром в честь благоверного князя Александра Невского, метила-то она дальше, в Александра Великого, чью судьбу прочила своему царственному внуку. Судьбу завоевателя, зиждителя мировой державы, какой под его императорской дланью должна стать Россия. Вот она и пишет барону Гриму, своему постоянному корреспонденту: «Этот святой был человек с качествами героическими. Он отличался мужеством, настойчивостью и ловкостью, что возвышало его над современными ему удельными, как и он, князьями. Татары уважали его. Новгородская республика подчинялась ему, ценя его доблести. Он отлично колотил шведов, и слава его была так велика, что его почтили саном великого князя».

И эта судьба сбылась, осуществилась на его жизненном поприще: присоединил к России Финляндию и прочие земли, победил Наполеона и вошел в Париж как спаситель Франции и Европы. Таким образом, свое первое имя он, если можно так выразиться, отработал сполна. Правда, крепостного права так и не отменил и конституцию России не даровал, но это уж пусть другие, более успешные, преуспевающие и удачливые. Для него же наступил черед иных — духовных — деяний и свершений, предначертанных еще двумя именами Александра, его своеобразными отсветами. В кругу близких к нему людей Александра столь часто называли ангелом, что это превратилось в имя, которое мы вправе написать с прописной буквы, — Ангел. И этот Ангел возник затем на Александровской колонне, причем неслучайно ему было придано портретное сходство с Александром. Ангел с крестом, на который он указывает как на символ своего крестного пути.

И, наконец, третье имя — Благословенный: этот почетный титул Александр получил после побед над Наполеоном как признание его заслуг перед отечеством и народом. Получил вопреки своим воле и желанию: все свои заслуги он склонен приписывать Богу, но этот титул настолько отвечает его внутренней сущности, что тоже становится для него именем. Таким образом, угадывается предначертание, запечатленное в этих трех именах: Александр, благословенный на то, чтобы стать ангелом на земле, то есть монахом, поскольку монашеское служение в православии приравнивается к ангельскому, оно от века ангельского чина.

Теперь имя Александр как императорское имя должно исчезнуть, и оно действительно исчезает в простонародном имени Федор: сколько этих Федоров на Руси! В каждом городе, в каждой деревне, на каждом постоялом дворе — Федор, Федя, Федька... Но в то же время, исчезнув, оно должно преобразиться, как преображается и сам Александр на новом жизненном этапе. Собственно, и библейский Аврам («Отец высей») стал Авраамом («Отцом множеств») после призвания его Богом. И при монашеском постриге, как известно, давалось новое имя. Поэтому Федор превращается в Феодора: Александр выбирает имя, в котором, словно тайный водяной знак, проступает, просвечивает латинское «Тео» («Фео») — «Бог», и означает оно «Дар Божий».

Но в этом имени угадывается и другой знак, указывающий на принадлежность Феодора Козьмича царскому дому Романовых. Известно, что имена Александра и Феодора носили основатели дома Романовых, дядя и отец Михаила I Феодоровича, а Федоровская икона Божией Матери была фамильной святыней рода. Поэтому для Александра I было вполне естественно стать Феодором: это имя ему не чуждо и выбор не случаен. Исследователи указывают на дополнительную мотивировку выбора, оправданную в том случае, если духовным наставником, благословившим Алексан-

дра на старчество, был митрополит Филарет: «... в славном 1812 году архимандрит Филарет, одновременно с утверждением в должности ректора Санкт-Петербургской духовной академии, был назначен настоятелем первоклассного Новгородского Юрьевского монастыря. Того самого, что позже получит в управление архимандрит Фотий. Именно в Софийском соборе Новгорода покоились мощи святого князя Феодора — старшего брата святого Александра Невского; в «Словаре историческом о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия, местно чтимых», изданном в 1836 году (год красноуфимского ареста Феодора Козьмича) и тогда же положительно отрецензированном Пушкиным, читаем: «Сей юный князь (по словам летописи), цветущий красотой, готовился вступить в брак, но внезапная смерть прекратила дни его»).

А почему Козьмич? Рискну предположить, что такое отчество старец Феодор выбрал себе потому, что это было монашеское имя князя Дмитрия Пожарского, возглавившего ополчение против поляков, — Козьма. О судьбе князя, перед смертью принявшего монашеский постриг, Александр не мог не думать в феврале 1818 года, открывая памятник Минину и Пожарскому на Красной площади и глядя на его каменное изваяние, припорошенное снежной метелью. Вот старец Феодор и взял его в духовные отцы, тем самым указуя на то, что и сам шел тем же путем: из князей (до принятия императорского сана он был великим князем) — в монахи.

Императрица Елизавета Алексеевна по официальной версии скончалась в мае 1826 года, возвращаясь из Таганрога в столицу. Мнимая смерть застигла ее в маленьком провинциальном городке Белеве, где на самом деле она не умерла, а сложила с себя сан императрицы и удалилась в иночество. Так они решили меж собой, Александр и Елизавета: он уйдет первым, а она — следом (поэтому и не сопровождала тело умершего в Петербург). Когда-то в их честь слагали хва-

лебные гимны: «Александр и Елизавета, восхищаете вы нас!» При этом и хулили, и порицали, и интриговали против них, и вот они оба шагнули туда, где ни восхищения, ни порицания, ни хулы, — в затвор, десятилетнее молчание.

Через десять лет она вышла из затвора, была арестована, помещена в тюрьму, затем в больницу для душевнобольных и наконец в Сырковский монастырь под Новгородом. В свое время императрица Мария Федоровна за ее кротость и терпение дала ей прозвище Ее Величество Молчание, а свой монастырский подвиг она совершала под именем Веры Молчальницы; на первом допросе у следователя назвала себя также Верой Александровной (после чего и замолчала), что тоже о многом говорит. Ее имя можно истолковать так: Верящая в Александра, в истинность и святость избранного им пути и выбравшая для себя этот же путь.

Итак, император и императрица отныне — Феодор Козьмич и Вера Молчальница, он — в Сибири, она — в глухом новгородском монастыре, оба проходят узкий путь покаяния, внутреннего преобразования, домостроительства души. Да, в личном плане — это несомненный подвиг, но как истолковать это в плане историческом и даже историософском? Историк наверняка скажет: «Ну, положим, это лишь гипотеза. Вот если вскроют могилу Александра в Петропавловской крепости и она окажется пустой, тогда возможно, хотя тоже, знаете ли, не факт, не факт...» Поэтому в последних книгах об Александре гипотеза о Феодоре Козьмиче и рассматривается в самом конце, после рассказа о его исторических свершениях. Иногда историк даже может позволить себе написать: «Здесь нет возможности говорить об этой легенде подробно. Существует достаточно исследований, убедительно опровергающих ее. Загадка Александра заключается не в его смерти, а в его жизни». Какой академизм во фразе: «Существует достаточно исследований...» Как жизнеутверждающе это звучит! И хочется добавить: как ходульно! Прочитав та-

кое, невозможно удержаться от возгласа: вот оно тяжкое наследие советской исторической науки!

Нет, мы не собираемся ее чернить и порочить: в ней было много ценного, и прежде всего, непримиримость ко всему буржуазному, гнилоственному, жажда социальной справедливости. Но эта наука, оправдав Грозного и возвысив Наполеона (книги Тарле и Манфреда), не допускала ни малейшего намека на то, что среди ненавистных Романовых могли быть цари, способные на такой нравственный подвиг, как самоотречение, и поднявшиеся до вершин святости. Поэтому какой там Феодор Козьмич! Умер, умер император в Таганроге, и не о чем тут больше говорить! Эта наука рассматривала Александра как стратега, дипломата, придворного, охотно смаковала подробности его любовных походов, но не пыталась постигнуть в нем собственно царя, помазанника Божьего. Советская наука оказалась бескрылой и нечуткой прежде всего к тайне имени, неслучайно ею в свое время был выброшен лозунг — история без имен. Мол, имен нет, да и истории как таковой нет — одни общественные закономерности!

Нет, мы хотим, мы жаждем имен и неповторимых судеб. Мы утверждаем вновь и вновь: подобная смена имен императора и императрицы — величайший исторический факт, проливающий новый свет не только на эпоху Александра, но и на русскую историю в целом (при этом мы не отрицаем значения и того факта, что Ульянов стал Лениным, а Джугашвили — Сталиным). Если же рассуждать историко-софски, то эта смена имен приблизила романовскую Россию (петербургский период) к Святой Руси и Москве как Третьему Риму, высветила в ней эти имена, похожие на тайные водные знаки, отсветы незримого Китежа...

Первый шаг от Петербургской России к Московскому царству Александр сделал в самом начале войны 1812 года, когда, покинув по настоянию своей свиты (ему был остав-